

ГЛАВА 3

РУДИМЕНТЫ СИНКРЕТИЧНОГО И ПОВЕРХНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ОБЫДЕННЫХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Если инфантильность начальных уровней восприятия у первобытных людей можно считать не только очевидной с первого взгляда, но и в определенной мере доказанной нами в предыдущей главе, то в отношении того, инфантильны или неинфантильны цивилизованные взрослые, ясности с первого взгляда не обнаруживается.

По этому поводу остроумно высказался выдающийся психолог-персоналог (специалист в области теорий личности), автор концепции эго-психологии Э. Эриксон: «Всякий взрослый, лидер или ведомый, член элиты или рядовой представитель массы, однажды был ребенком. Когда-то он был маленьким. Чувство собственной малости составляет неискоренимую основу его душевной жизни. ... Всякое общество состоит из людей в процессе их превращения из детей в родителей. Для того чтобы обеспечить непрерывность передачи традиций, общество должно уже достаточно рано готовить своих детей к отцовству и материнству, и оно также должно позаботиться о неизбежных следах инфантильности у своих взрослых членов. ... Мы уже цитировали слова Вильяма Блейка о плодах двух разных времен года, игрушках ребенка и мыслях старика. Мы предположили, что он таким образом намеревался представить всю важность и значимость игры. Но, может быть, он также имел в виду указать и на латентную инфантильность зрелого мышления» [Эриксон 1993: 50, 53]. Здесь, очевидно, уместнее всего вспомнить современных цивилизованных взрослых, которые, демонстрируя ПВ в не меньшей степени, нежели младшие дошкольники и первобытные люди, полагают, что маленький ребенок необыкновенно внимателен, поскольку от него не ускользают детали, не замеченные взрослыми. На этот счет показательно замечание А. Валлона: «...нам часто кажется, что внимание ребенка устремлено на детали предметов. Иногда он замечает даже такие тонкие и неожиданные детали, которые ускользают от взрослых. Однако ребенок воспринимает эти детали как самостоятельный объект, а не как части целого» [Валлон 1967: 159, 161], то есть как объект, зафиксированный им случайно в качестве ближайшего его «блуждающим взором» (см. главу 1). В предлагаемом в настоящей главе обзоре мы ставим задачу выяснить, действительно ли «латентная инфантильность зрелого мышления» — явление распространенное.

Даже беглый взгляд в прошлое позволяет заметить, что еще совсем недавно наши взрослые (и весьма для своего времени образованные) предки в основной своей массе были первобытно-суеверными, то есть не воспринимали истинных причин происходящих вокруг них явлений, объясняя эти явления действием мистических сил (ПВ). Например, в сборнике В.Б. Антоновича «Колдовство: документы — процессы — исследование» 1877 года описываются такие относящиеся к началу XVIII века (Века Просвещения!) судебные разбирательства и их юридические атрибуты (названия взяты из содержания сборника; приводим их, как и при цитировании названия сборника, с использованием современной кириллицы, но с принятой в то время орфографией): «1701, Февраля 12. Решение Каменец-Подольского магистрата, по которому он признает бездоказательною жалобу мещанина Судца на гречанку Антонову о том, что она посыпала порог в доме истца каким-то порошком»; «1704, Июля 7. Показания свидетелей по делу об обвинении цехмистра Яна Затвердзевича в употреблении чародейственных средств для усиления своих заработков»; «1704, Июля 14. Показания подмастерья Василия Фиялковского об употреблении тремя мастерами ткацкого цеха в Каменце чародейственных средств для снискания работы»; «1715 г. сентября 28. Показания, отобранные в Каменецком магистрате от мещанки Регины Рожицкой по делу о попытке Мещанки Васинской околдовать мещанина Андрея Гродзицкаго». К середине XVIII века мировоззрение этих граждан (в том числе дворянского сословия и судей) нисколько не прогрессирует: «1742, мая 28. Показания дворянки Варвары Костецкой о том, какие меры она предпринимала по поручению дворянки Виктории Рабчинской для наведения злых духов на мужа последней — Роха Рабчинскаго»; «1747, июля 16. Жалоба и показания свидетелей перед магистратом города Олыки по делу об обвинении мещанки Омельчихи мещанином Опанасом Моисеевичем в том, что она причинила болезнь его жене и ребенку, вылив какую-то жидкость»; «1749. Допросы, снятые с двух крестьян из села Пудловец, обвиненных в том, что они тайно открыли клад на помещицкой земле и при отыскании его прибегали к чародейству ворожки» [Антонович 1887]. Работы Н.Ф. Сумцова конца XIX века с характерными, говорящими, названиями «Колдуны, ведьмы и упыри: библиографический указатель», «Заговоры: библиографический указатель», «Личные обереги от сглаза», «Пожелания и проклятия (преимущественно малороссийские)» [Сумцов 1891; Сумцов 1892; Сумцов 1896; Сумцов 1896¹] красноречиво свидетельствуют о том, что в то время мистическое восприятие непонятного было явлением достаточно массовым. Причем таким оно было не только в России, но и в образцово «просвещенной» Западной Европе —

см. работу Н.Ф. Сумцова «Очерк истории колдовства в Западной Европе» [Сумцов, 1878]. В 70-е и 80-е годы XX века те же представления наблюдались у нижеамурских нанайцев и ульчей. Например, они верили, что если человек нечаянно наступил на край кострища, то именно дух огня Подя, наказывая человека за такую неосторожность, вызывает резкую боль в ноге и ее опухоль (ПВ), — следовательно, нужно сделать фигурку этого духа, окурить ее багульником, намазать ее рот кашей и в специальном заклинании попросить не сердиться [Смоляк 1991: 44–45].

Совершенно очевидно, что уводящая в мистику логика недавних наших предков ничем не отличается от логики как детей, так и описанных этнографами туземцев. Не отличается она от логики детской и первобытной и у многих наших современников. Достаточно оценить количество предлагаемых в СМИ «услуг» по колдовству, чародейству, магии (видимо, имеются существенные признаки, дифференцирующие эти понятия), ворожбе, защите от сглаза и порчи и т. п.

Отдельно следует подчеркнуть достаточно массовое увлечение лженауками. Еще в XVII веке логики Пор-Рояля А. Арно и П. Николь остроумно характеризовали «логичность» астрологии: «Есть на небе созвездие, которое кому-то заблагорассудилось назвать Весами; оно так же похоже на весы, как и на ветряную мельницу. Весы — символ справедливости и беспристрастия; стало быть, родившиеся под этим созвездием будут справедливыми и беспристрастными. Есть в Зодиаке три других знака: Овен, Козерог, Телец; с таким же успехом они могли бы называться Слон, Носорог, Крокодил. Овен, козерог и телец — жвачные животные; стало быть, у того, кто принимает лекарство в период, когда Луна расположена над этими созвездиями, есть основания опасаться, как бы его желудок не изверг принятое снадобье. При всей нелепости подобных рассуждений находятся и те, кто их преподносит, и те, кому они кажутся убедительными» [Арно и Николь 1991: 9]. Остается добавить, что указанные этими известными логиками рассуждения, во-первых, ничем не отличаются от первобытных и, во-вторых, вряд ли уменьшились в количестве к настоящему времени.

Например, в предыдущей главе говорилось о выявленном Э. Тэйлором древнем обычае не спасать утопающего из страха перед духами воды. Но ученый фиксирует это явление и у рыбаков Богемии в 1864 году [Тэйлор 1939: 63], то есть сравнительно недавно. (Возможно, медаль «За спасение утопающего» была учреждена прогрессивно мыслящими людьми с целью преодоления этого суеверия.) Э. Тэйлор практически каждому первобытному обычаю находит параллель в современном мире.

В начале предыдущей главы мы говорили о предполагаемом у неандертальца синпрактическом (неотделимом в процессе познания от

чувственного опыта) мышления. Синпрактическое мышление, как мы выяснили, вполне естественно для современных первобытных народов: «Представители некоторых народностей, стоящих на относительно низком уровне развития культуры, до сих пор стараются избегать чисто логического рассуждения; им представляется, что, если его нельзя подкрепить их личным опытом, оно недостаточно достоверно» [Леонтьев А.А. 1984: 52]. Однако и у некоторых современных цивилизованных народов (по крайней мере, живущих в окружении таких народов и контактирующих с ними) сохранились пережитки такого этапа в развитии мышления: люди избегают делать логические умозаключения о предметах и явлениях, с которыми они не знакомы, они даже часто не могут предположить самое простое событие, пока оно не произошло, то есть не способны мыслить абстрактно и логически. С подобными проявлениями столкнулся, например, А.Р. Лурия, когда в 1931–1932 годах был участником двух экспедиций в Среднюю Азию, где изучал особенности мышления жителей отдаленных кишлаков Узбекистана и горных районов Киргизии. Эти люди обнаружили синпрактическое мышление (обусловленное, конечно, ПВ) в полной мере. Например, этим жителям предлагалось назвать демонстрируемые им геометрические фигуры: «Все геометрические фигуры обозначались ими как названия предметов. Так, круг получал название *тарелка, сито, ведро, часы, месяц*; треугольник — *тумар* (узбекский амулет); квадрат — *зеркало, дверь, дом, доска, на которой сушат урюк*» [Лурия 1974: 47] (ПВ).

В главе 1 мы писали об обобщающем характере цветообозначений, однако А.Р. Лурия обнаружил, что в исследуемых им среднеазиатских языках «оттенки, имеющие практическое значение, обозначаются неизмеримо большим числом терминов, чем оттенки, не имеющие практического значения». При этом такое «неизмеримо большее число терминов» представляет собой наглядно-образные (типа *лимонный*), а не категориальные (типа *красный*) названия. Например, в речи людей, живших традиционной (не колхозной) жизнью, А.Р. Лурия обнаружил такие названия цветов: *ириса, граната, персика, фисташки, табака, печени, вина, кирпича, испорченного хлопка, леденца, розы, телячьего помета, помета свиньи, гороха, озера, неба, мака, темного сахара, испорченных зубов, цветущего хлопка, воды, когда ее много*, и др. [Там же: 38–39] (ПВ). Поскольку операции дифференциации предшествуют в ходе познания операциям интеграции (см. главу 1), логично рассчитывать на то, что интеграция может следовать за операцией дифференциации. Испытуемым предлагали осуществить интеграцию: найти нечто общее между курицей и собакой, рыбой и вороной, кровью и водой — и все они «соскальзы-

вали на описание различий» [Там же: 89–91], то есть от уровня дифференциации к уровню интеграции подняться не могли. Различать легче, чем объединять: различие (дифференциация) имеет дело с парами сравниваемых объектов, которые всегда находятся в зоне эмпирического восприятия или в несложном их представлении в небольшой по объему оперативной памяти; объединение же предполагает восприятие или оперативное представление и более чем двух объектов, а для этого требуется большая абстрактность мышления (позволяющая функционально нейтрализовать недостаточность объема оперативной памяти), нежели при различении. В предыдущей главе мы приводили пример Л. Леви-Брюля о туземце, который, размышляя о том, кто околдовал его лук и стрелы, готов был обвинить в этом первого встречного. Но Дж. Брунер доказывает то же в отношении современных цивилизованных людей: «При отсутствии опыта или даже вопреки опыту люди воспринимают случайные последовательности событий как связанные между собой сопряженными вероятностями» [Брунер 1977: 34].

Хорошо известно, какое важное значение для первобытного человека имеют ритуалы, являющиеся ярким свидетельством неспособности к абстрагированию (см. в предыдущей главе результаты наблюдений Дж.Дж. Фрэзера за поведением шаманов-даяков во время родов и другими имитирующими ритуалами). Н.Н. Миклухо-Маклай выявил такую «буквально-ритуальную» (хотя и постепенно исчезающую) особенность в поведении жителей острова Ява, уже давно имевших ко времени этого описания (второй половине XIX века) свою письменность, восходящую к древнеиндийскому брахми: «Во время первой беременности, для того чтобы роды обошлись бы благополучно и чтобы ребенок оказался бы здоровым и красивым, муж укутывается в мешок, спускается в колодец и, окунувшись в воду, разрезает в длину и разом ножом мешок и выходит из колодца» [Миклухо-Маклай 1990: 272] (ПВ). У славян не вполне исчезли обычаи, заслышав первый весенний гром, потереться спиной о ствол дерева (желательно дуба — см. о взаимосвязи дуба и грозы у древних греков, римлян, кельтов, германцев, славян и литовцев в [Фрэзер 2003: 173–176]) или покататься по земле — чтобы не болела спина, а также при первых признаках града перевернуть телегу или снять верхнюю одежду и вывернуть ее наизнанку — дабы град прекратился [Толстые 1982] (ПВ). «На северной Ровенщине в с. Сварицевици при первом ударе грома самый старший из мужчин в доме выходил во двор и перебрасывал через хату, в направлении с востока на запад, одно из освященных на пасху яиц» [Там же: 57] (ПВ). В главе 1 мы привели выводы исследователей о зачастую ненужной стереотипной повторяемости в поведении

шимпанзе, которые предпочитают из раза в раз повторять путь, однажды приведший к успеху, даже если к этому успеху есть путь более короткий. Но ни для кого не секрет, что аналогичным образом весьма часто поступают и современные цивилизованные люди в самых разных жизненных ситуациях: от впервые пройденного и затем упорно повторяемого самого длинного пути через малознакомый район (ср. с нежеланием португальцев искать западный путь к островам пряностей, поскольку туда уже был известен путь вдоль африканского и азиатского побережья) до искренней веры в то, что приманка, на которую однажды — случайно — поймал щуку, является самой уловистой, а пиджак, который был надет в день, когда неожиданно получил повышение, является «счастливым» (ПВ).

В проблемно-философском романе Питера Матиссена «Игра в полях господних» протестантские миссионеры из США, несущие Слово Божие амазонским индейцам ниаруна (во второй половине XX века), не сразу понимают, что некоторая успешность их миссионерской деятельности объясняется лишь тем, что имя Иисус оказалось паронимически похоже на имя главного индейского бога Кису (повелителя Зла и Грома) и в сознании индейцев отождествилось с ним. Подобным образом восточные славяне восприняли Илью-пророка как громовержца потому, что день Ильи-пророка (2 августа по новому стилю, 20 июля — по старому) совпал (многие исследователи полагают, что не случайно) с днем почитания предыдущего громовержца — Перуна, в свою очередь, возможно, восходящего к Роду, которого к моменту июльского созревания урожая тоже стоило просить повременить с грозowymi дождями (подобные просьбы были общеевропейским явлением). «Заслышав гром, считали, что Илья-пророк разезжает по небу в огненной колеснице, запряженной четырьмя быстрыми как ветер конями» [Макашина 1982: 83–85] (с этим, как мы помним, не желал соглашаться тургеневский нигилист Базаров). Приверженцы такой этимологии грома встречаются и сейчас. С именем Ильи-пророка связывают также табу на купание в водоемах после 2 августа, и у этого запрета тоже достаточно современных исполнителей.

А.В. Смоляк подробно описывает особенности нижеамурского шаманизма (ПВ), успешно дожившего до наших дней [Смоляк 1991]. Однако в расположенной не очень далеко от Амура Монголии вера в мистическое не только является неискоренимой, но и в последние два десятка лет восстанавливает свои позиции и даже выходит на новые уровни признания. «Монгольские власти понимают ту важную роль, которую могут сыграть автохтонные верования и шаманизм в сохранении монгольской идентичности, культуры и традиций. И стараются оказывать им поддержку. В 1995 г. президент страны подписал указ «О поддержке пред-

ложения о возрождении традиции жертвоприношения духам гор Богдхан Хайрхан, Хан Хэнтий и Отгонтэнгэр». Сам президент, а также другие официальные лица неоднократно принимали участие в крупных церемониях жертвоприношения. ... После одного из таких мероприятий на горе Отгон-тенгри в 1997 году среди монголов распространились слухи, что из-за того, что президент Н. Багабанди неправильно провел церемонию жертвоприношения, началась бескормица (зуд)». Более того, среди современных граждан США и Европы имеются приверженцы набирающего обороты возрождения монгольского шаманизма: монгольские шаманы проводят свои семинары чаще в США, нежели в Западной Европе, и призывают к объединению шаманов всего мира. В Улан-Баторе регулярно проводятся международные конференции по шаманизму [Сабилов] (не хотелось бы, чтобы идея «сохранения идентичности, культуры и традиций» понравилась этносам, в прошлом культивировавшим каннибализм).

В современной просвещенной Европе сохраняется достаточное количество обрядов, корни которых уходят в язычество. «День 1 мая был, по-видимому, древним языческим праздником, именно поэтому в странах Европы широко бытовали поверья о том, что многие растения приобретают в этот день особые магические свойства. ... Во французской народной традиции до сих пор сохраняется представление о ландыше как о цветке, приносящем счастье. Насколько жива эта традиция, можно видеть в международный день 1 Мая, когда улицы Парижа кажутся заснеженными от обилия ландышей. ... В комплексе майских обрядов центральное место занимают обрядовые действия, игры, совершаемые вокруг майского дерева, майского столба, устанавливаемого в центре деревень» [Покровская 1983: 83] (ПВ).

Современным цивилизованным взрослым свойствен и простейший, не отягощенный мистикой СВ: герой фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2» не видит никакой разницы между румыном и болгаринном. Местные храмы в Китае иногда посвящаются «сразу многим богам, причем божества в них обычно расположены группами. Наиболее популярны композиции из трех персонажей. Таковы, например, троица основоположников «трех религий» — Конфуций, Лао-цзы и Будда» [Малаявин 1991: 137]. Жители индустриально и социально развитой Японии наряду с буддизмом до сих пор исповедуют языческий синтоизм (лишь в 1947 году отделенный от государства). «Истоки синто восходят к глубокой древности и включают все присущие первобытным народам формы верований — тотемизм, анимизм, фетишизм, магию, культ предков и т. п.». Связанный с жизненными нуждами синтоизм и заботящийся о душе буддизм «взаимно дополнили друг друга, что объясняет характерное для

Японии сосуществование этих двух религиозных традиций в одном и том же индивиде, необычайную веротерпимость японцев, их склонность к синкретизму в области религии, к одновременному исповеданию двух и более вероучений и особенно к участию в обрядности различных религий» [Светлов 1991: 189, 195].

Невосприятие (СВ) опасности, именуемая в народе легкомыслием или недалёковидностью, традиционно высмеивается. Например, в русской народной сказке «Победа крестьянская над господином» главный герой, крестьянин-бедняк, убеждает одну богатую хозяйку в том, что ее свинья приходится ему родной теткой, которую он пришел пригласить «к родителям на пирушку». Хозяйка не только верит ему, но и дает лошадь с телегой, чтобы этот крестьянин и его «тетка» не шли на пирушку пешком. Вернувшийся господин понимает, что его легкомысленную супругу обманули, и бросается в погоню. Он обнаруживает прогуливавшегося по лесу вора, но, не зная, что это вор (спрятавший в лесу лошадь, телегу и свинью), и приняв его за обычного и готового помочь человека, таким же непостижимым образом, как и его жена, верит обещанию этого крестьянина: «...разве дарите мне свой кафтан, лошадь и плетъ, то, может быть, я, догнав мужика, возвращу свинью». Завладев всем, что попросил, крестьянин долго стегает плетью незадачливого господина, а затем возвращается домой «с двумя лошадьми и с свиньею, а господин с испещренною спиною» [Русские сказки... 1971: 221–223]. Однако если мы обратимся к истории человечества, то легко убедимся в том, что подобную, в большей или меньшей степени, в том или ином случае, недалёковидность демонстрируют почти все исторические, то есть, казалось бы, не глупые, деятели, и военные, и гражданские (примеры дальновидно не приводим, дабы не увязнуть в их огромном количестве). Невосприятие опасности, причем в простейшей бытовой ситуации, обнаруживают даже великие ученые, например Г. Лейбниц, споривший с И. Ньютоном по поводу того, кто из них двоих первым открыл новую область математики — дифференциальное исчисление, и недалёковидно обратившийся за истиной в Королевское общество, президентом которого был как раз И. Ньютон, который и назначил для разрешения этого спора «независимую» комиссию, состоящую из своих друзей [Хокинг 2001: 246]. Мы знаем об этом только благодаря известности этих личностей, то есть их заметности, весьма облегчающей наше восприятие, и мы мало что знаем о проявлениях синкретизма и поверхностности восприятия у нескольких миллиардов рядовых землян-сапиенсов. Однако, судя по себе и доступным нам в общении людям, мы можем прийти к вряд ли поспешному обобщению, что у всех остальных восприятие имеет тот же недостаток.

Современный цивилизованный взрослый нередко обнаруживает недостатки восприятия и при определении вероятностей различных событий. Здесь встречаются суждения: «по представительности» (по внешнему сходству), «по встречаемости» (в личном опыте), «по точке отсчета» (ориентация на которую существенно влияет на выбор), «по сверхдоверию» (по ранее сформировавшемуся собственному мнению), «по стремлению к исключению риска» (к избеганию нового, ранее неизвестного) [Ларичев 1979: 114–116] — налицо действие перцептивного закона близости, подтверждающего присущую человеческому восприятию поверхностность (ПВ). Действительно, в самых разных аспектах современного нашего быта мы не обходимся без предрассудков и субъективизма. Так, в самом начале торговли продавцы просят стать первым покупателем мужчину, даже если он стоит последним в длинной очереди, состоящей из женщин (торговую удачу-де приносит первый покупатель — мужчина). По-прежнему соблюдаются обычаи впускать сначала кошку в новые дом или квартиру либо загадывать желание, пока падает звезда (в астрономическом смысле, конечно, это не звезда, а небольшой метеорит, сгорающий в верхних слоях атмосферы) или пока мы находимся между двумя людьми с одинаковыми именами. Подводя итоги выступления сборной Украины на Олимпийских играх в Лондоне (2012 г.), комментатор абсолютно серьезно говорит о том, что 14-е место, занятое Украиной на этих соревнованиях, несомненно, лучше 13-го (чертовой дюжины), и призывает зрителей с этим согласиться. В нашей жизни имеется целый сонм и других плохих примет — от черной кошки, перебежавшей дорогу, до празднования 40-летнего юбилея. Мы торопимся ритуально послать к черту в ответ на (уже давно сокращенное и десемантизированное) пожелание «Ни пуха!» и почти радостно воскликнуть «На счастье!», когда неуклюжий гость разбивает дорогую чашку. Мы без ропота соблюдаем любой ритуал, в котором выполнение определенных действий не вызвано никакой необходимостью, кроме слепого повиновения аргументу «Так надо, потому что так заведено». И, конечно, субъективность наших оценок, обусловленная поверхностным восприятием оцениваемого, ориентированным на ближайший в зоне восприятия признак, остается одним из главных человеческих недостатков. А.А. Леонтьев справедливо замечает: «Все мы нередко рассуждаем нелогично, делая скороспелые и неточные выводы из имеющихся у нас посылок. ...Но особенно распространённый недостаток логического рассуждения — недостаточное отвлечение от непосредственного, личного опыта, которое мы уже видели у ребенка-дошкольника» [Леонтьев А.А. 1984: 51–52].

Н.А. Подгорецкая целенаправленно изучала приемы логического мышления у взрослых исходя из следующего: «Умение логически мыс-

лить включает в себя ряд компонентов: умение ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам логики, строить свои действия в соответствии с ними, умение производить логические операции, осознанно их аргументируя, умение строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок и т. д.» [Подгорецкая 1980: 25]. Н.А. Подгорецкая провела эксперимент с разными группами взрослых — от учащихся старших классов до людей среднего возраста, — предложив им выполнить логические задания, аналогичные применяемым Ж. Пиаже и Б. Инельдер к детям дошкольного и младшего школьного возраста (эти ученые утверждали, что с 14-летнего возраста логическое мышление человека является полностью сформированным и готовым к решению любых логических задач). Результаты оказались неожиданными: «...проведенный эксперимент обнаружил, что при создании соответствующей структуры задачи у взрослых можно получить результаты, сходные с результатами необученных детей: ориентировка на случайные признаки, которые являются наиболее «яркими», нерасчлененность параметров изучаемых объектов, неумение отвечать на заданный вопрос, подмена объективной оценки субъективной, большая связанность спецификой предложенного экспериментального материала, отсутствие дифференцировки позиции разных людей, нечувствительность к противоречиям, довление житейского уровня объяснений над логическим и пр.» [Там же: 127–128]. К таким же выводам приходили и другие исследователи. Кроме того, ряд экспериментов продемонстрировал, что если младших школьников специально обучать приемам логического мышления, то такое обучение оказывается весьма результативным: в решении логических задач такие обученные школьники не только не уступают старшеклассникам, но и превосходят их (подробнее об этом см. [Там же: 130–136]). Результаты, полученные Н.А. Подгорецкой, практически ничем не отличаются от наблюдаемых столетиями раньше. К специальному обучению искусству мыслить более трехсот лет назад призывали и логики Пор-Рояля А. Арно и П. Николь, очевидно испытывавшие смешанное чувство отчаяния и досады при восприятии когнитивных способностей многих своих современников. Авторы с горечью говорят о мышлении этих взрослых людей то же, что представители возрастной и этнической психологии сообщают о мышлении детей и первобытных людей: «...правильность суждений — на удивление редкое свойство. Повсюду встречаются лишь неправильные умы, почти неспособные отличить истину от лжи. Они толкуют обо всем вкривь и вкось; они довольствуются самыми слабыми доводами и хотят, чтобы ими довольствовались и другие; их сбивает с толку малейшая видимость; ...у них нет твердой

уверенности в тех истинах, которые им известны, так как принять эти истины их заставляет случай, а не глубокие знания, или же, наоборот, они упрямо стоят на своем и не слушают ничего, что могло бы вывести их заблуждения» [Арно, Николь 1991: 8] (отметим корреляцию «малейшей видимости», в том числе по воле «случая», с ПВ). А. Арно и П. Николь даже себя обобщенно включают в число логически ущербных современников, проблемы которых объединяются одной — инфантильно-первобытной поверхностностью восприятия-познания: «...мы редко рассматриваем вещи во всех подробностях; мы судим о них по самому сильному своему впечатлению и воспринимаем только то, что нас больше поражает. <...> Весьма свойственная людям ошибка — поверхностно судить о поступках и намерениях других, и совершают ее только в силу неправильного умозаключения, когда, не имея ясного представления обо всех причинах, способных вызвать некоторое действие, это действие относят только к какой-то одной причине, хотя оно может быть вызвано и другими причинами. ... Людям требуется не более трех-четырех примеров, чтобы извлечь из них максимум или общее место. ... Часто осуждаемая ошибка ... — судить о принятых решениях по происшедшим вслед за тем событиям» [Там же: 281, 286, 287]. Как видим, главная проблема, под которую подводятся все перечисленные авторами случаи, — это поверхностность восприятия, как и «часто осуждаемая ошибка» — уже дважды названная выше логическая ошибка «смешение причинной связи с простой последовательностью во времени». К процитированному можно добавить меткое замечание Г. Спенсера по поводу устойчивости стереотипов в современном ему обществе: «Любопытно видеть, как люди вообще фактически придерживаются доктрин, от которых они уже отреклись в принципе, сохраняя таким образом сущность после того, как оставили форму» [Спенсер 2007: 141].

Перейдем к вопросам восприятия и логического мышления и в науке, выводы которой, как известно, должны полностью соответствовать законам формальной логики. Весьма наглядный и уместный в данном случае (хотя, признаем, и неожиданный) пример проблем с восприятием — определение логики в известном логическом словаре-справочнике Н.И. Кондакова: «*Логика — совокупность наук о законах и формах мышления, о математико-логических законах исчисления (формализованных символических языков), о наиболее общих (диалектических) законах мышления*» [Кондаков 1975: 285]. Данное определение состоит из трех частей. Первая и третья части понятийно пересекаются, поскольку обе толкуют понятие логики через «законы мышления». Вторая часть, математическая и потому лингвистов в основной их массе не интере-

сующая, содержит семантическую избыточность: толкует значение существительного *логика* в том числе с помощью производного от него прилагательного *логический*. Эти два замечания показывают важность постоянного контроля (и прежде всего — самоконтроля) за перцептивно обусловленным соответствием хода мысли, в особенности научной, законам формальной логики.

Известно, что успешность развития науки всегда относительна: когда-то Геродот был убежден в том, что на экваторе так жарко, что океан кипит, Демокрит провозглашал неделимость открытых им атомов, Аристотель был убежден в том, что Земля — центр мироздания, а Колумб до конца своих дней полагал, что открыл западный путь в Индию (исторические примеры можно перечислять долго). Однако и современная наука далеко не всегда избегает алогизмов, обусловленных поверхностным восприятием исследуемых объектов. А. Шафф справедливо замечает: «Часто бывает так, что философская проблема начинается там, где она окончилась для здравого рассудка. Именно там, где рассудок подходит к пределу проблемы, установив, что люди, разговаривая, передают друг другу разного рода информацию и в этом смысле общаются между собой, философ начинает ставить вопросы: «А как? А почему? А что это означает?» [Шафф 1963: 133]. Подобные вопросы, нередко выходящие за пределы лингвистической компетенции, как известно, всегда интересуют известнейшего лингвиста современности Н. Хомского. Так, по поводу состояния развития современной физики в известном «интервью о минимализме» (1999 год) ученый остроумно замечает: «Физики даже сегодня не могут в деталях объяснить, например, как вода течет из крана, или структуру гелия, или другие вещи, которые кажутся чересчур сложными. Физика находится в ситуации, в которой 90% материи во Вселенной — это то, что называется темной материей, — а темной она называется потому, что они не знают, что это такое, найти ее не могут, но она непременно должна где-то присутствовать, иначе физические законы не будут работать. То есть люди продолжают счастливо жить, допуская, что 90 % материи во Вселенной мы просто не замечаем. Теперь это считается нормальным, но во времена Галилея это считалось скандальным» [Хомский 2005: 146–147]. Трудно не признать, что это корректное и достаточно яркое подтверждение скромных показателей науки в познании, а следовательно и в восприятии, окружающей действительности.

Не ставя перед собой колоссальную по своей трудоемкости и историко-научную по аспектной принадлежности задачу описания всех перцептивных заблуждений в науке, приведших к неверным логическим выводам, остановимся на некоторых проблемах восприятия в лингвистике,

включающих (здесь и далее) проблемы как стихийно сложившегося восприятия языковых фактов, отраженного в самом устройстве языка, так и внешнего их восприятия носителями языка, в том числе, конечно, лингвистами как специалистами в данной сфере.

В истории решения одного из центральных вопросов науки — о конечном и бесконечном, понятиях, имеющих особое преломление в естественном языке, — в борьбе финитистских и инфинитистских философских концепций, отчетливо прослеживается мысль: бесконечность вширь признается легче, чем признаваемая только математикой бесконечность вглубь [Бурова 1987]. Историк науки А.В. Койре обращает внимание на то, что пространственная бесконечность Вселенной вширь, провозглашенная Джордано Бруно, была — на основании эмпирических данных — оспорена уже Кеплером (ср. с современным, опирающимся на данные новейших супертелескопов, понятием расширяющейся Вселенной, граница которой эмпирически очевидна как отражающая свет разлетающихся галактик и отодвигающаяся вместе с ними). Однако научные взгляды Кеплера тоже не избежали противоречия: «Вне всякого сомнения, Джордано Бруно не очень уж крупный философ и слабый ученый, а доводы, приводимые им в пользу бесконечности пространства и умозрительной первичности бесконечного, не очень убедительны (Бруно не Декарт). Тем не менее этот пример не единственный — их много не только в философии, но и в чистой науке: вспомним Кеплера, Дальтона или даже Максвелла в качестве примеров того, как ошибочное рассуждение, основанное на неточной посылке, привело к далеко идущим последствиям» [Койре 1985: 19] (нетрудно понять, что «рассуждение, основанное на неточной посылке», есть логика, опирающаяся на ПВ). Несложно эмпирически убедиться и в том, что на уровне отраженного в языке обыденного сознания, в наивной картине мира, бесконечность вглубь отрицается именно потому, что в сторону уменьшения чего угодно точка нуля всегда на виду, всегда относительно близка, всегда воспринимаема. Фиксируется же бесконечность в обыденном сознании лишь потому, что при поверхностном взгляде в сторону увеличения чего-либо (или его продолжения как увеличения во времени) точка конца не воспринимается (Гегель называл такую бесконечность «дурной» [Гегель 1970: 308]), и тогда *бесконечными* становятся и *дорога*, и *радость*, и *слезы*, и всё, что угодно, при невосприятии кем-либо предела здесь и сейчас, в то время как на самом деле — и в этом совсем не трудно эмпирически убедиться — этот предел существует [Попов 1995: 20–27]. Семантическое наполнение языковых номинаций бесконечного демонстрирует весьма поверхностное его восприятие человеком, поэтому даже зако-

номерным можно признать то, что такое восприятие обнаруживается и в сфере семантических толкований. Так, Ю.Д. Апресян говорит, что высоту предмета можно увеличивать бесконечно и предмет все равно останется высоким, в то время как уменьшать высоту предмета бесконечно — нельзя, так как предмет исчезнет или преобразится до неузнаваемости [Апресян 1974: 66]. На первый (поверхностный) взгляд, всё верно, особенно по поводу уменьшения высоты, но — вряд ли можно назвать, к примеру, фонарным столбом столб, фонарь которого — в силу «истинно бесконечного» увеличения высоты столба — вначале затеряется в облаках, а затем, очевидно, выйдет в открытый космос и устремится в неизведанное пространство. Вряд ли сможем мы назвать столом стол, столешница которого — по причине «истинно бесконечного» удлинения его ножек — перестанет зрительно нами восприниматься, из-за чего мы не сможем воспринять ножки такого «стола» как ножки (скорее, воспримем их как непонятно зачем уходящие в небо столбы). Следовательно, для нашего чувственного (пусть даже при помощи телескопа «Хаббл») восприятия ограниченной оказывается бесконечность не только вглубь, но и вширь (в научной картине мира оба вида бесконечности в истинном качестве возможны только в суперабстрактной науке математике). Невозможно рассматривать понятие бесконечности в человеческо-языковом восприятии без учета положений значимого для лексической семантики эмпиризма, так же как некорректно применять к этой ситуации принципы рационализма, абсолютно не существенные для отраженной в языке наивной картины мира, наивность которой обусловлена ПВ, не всегда поставляющим логическому мышлению истинно научные данные [Попов 1995: 109–111]. Л.Б. Лебедева по этому поводу высказывается еще категоричнее: «Воспринимать, осознавать и мысленно представить себе бесконечную, ничем не ограниченную величину мы вообще не можем. Само понятие бесконечности является лишь умозрительным конструктом, и в его основе лежит не положительный признак, а его отрицание, снятие заданного признака, признака конечности, то есть, в известном смысле, насилие над психологической реальностью» [Лебедева 2000: 93].

Показательны основанные на ПВ логические выводы психолингвистов, «обнаруживающих» признаки разумности у разных представителей животного мира. Психологи давно выяснили, что звуки, издаваемые животными, отражают их эмоции, которые могут быть коммуникативным сигналом-мотивом для других, но языком не являются [Леонтьев А.А. 1963: 12–16]. «Диалоги» животных — это «жестко регламентированные взаимодействия, у большинства видов чисто инстинктивные, пере-

бор возможных вариантов ответа на каждую «реплику» очень невелик. Да и набор «тем», на которые можно вести диалог, минимален» [Бурлак 2011: 76]. Когда животное издает звук, у него нет самой «мысли» что-то сообщить другим. Именно так мы вскрикиваем «ой!», уколов палец, совершенно не имея мысли предупредить всех об осторожности обращения с колющими предметами или призвать всех на помощь. Даже когда в животном мире внешне все выглядит так, что на зов самки прибегают самцы, это не язык, это звук потребности самки, который служит сигналом-стимулом для самцов, которым еще предстоит борьба за реализацию возможности удовлетворить свою потребность. К сожалению, внешняя сторона, лишь напоминающая языковую коммуникацию, способна вводить в заблуждение ученых, которые, обманувшись, принимаются исследовать «язык животных». Как отмечает А.А. Леонтьев, дело доходит даже до того, что «сопоставляется обезьяний крик «ау» (связанный с инстинктом стадности) и дифтонги «ау» в английском и латышском языках» [Леонтьев А.А. 1963: 16]. Аналогичным образом — поддавшись обману внешнего проявления — некоторые ученые констатируют наличие интеллекта у дельфинов. Доказательство: дельфины-де подталкивают к берегу тонущих людей. Да, это очевидно постольку, поскольку об этом рассказывают спасшиеся таким образом люди. Но, как гласит мрачноватая шутка, ничего не говорят и никогда не скажут те утопающие, которых дельфины толкали в противоположную от берега сторону.

В поведении животных встречаются даже своего рода «ритуальные тексты». Например, в течение всей своей жизни серый гусь выполняет одни и те же действия с определенным смыслом: принимая определенные позы и совершая определенные движения, он атакует воображаемого противника и, как бы победив его, приветствует свою избранницу — с целью ей понравиться; объясняясь ей в любви, он издает специальный крик и опускает голову в воду; в семейной жизни с избранницей он использует определенные позы и крики для выражения любовного восторга, семейного восторга (при уходе за птенцами), запрета ухода к сопернику и угрозы сопернику (если таковой обнаружится), покорности, превосходства и многие другие, в том числе демонстрирует по сути «нулевые знаки», например нарочитое отсутствие крика при «случайной» интимной связи, то есть не с «женой» (которая у серого гуся, как правило, выбирается на всю жизнь), и бездействие при необходимости в защите этой «не-жены» [Лоренц 1984]. Но такой жестово-звуковой «текст» является инстинктивным, причем не только потому, что он врожден, но и потому, что серый гусь не может его изменить, например варьировать или достроить чем-то новым. Есть множество коммуника-

тивных систем — и у человека, и у животных, — но лишь коммуникативные системы человека называют языками в силу их изменчивости, в том числе достраиваемости. Ж.И. Резникова приходит к выводу, что «в последней четверти XX века произошла настоящая революция в научном направлении, связанном с изучением языкового поведения и интеллектуальных возможностей животных. Оказалось, что многие виды животных с высоким уровнем социальной организации обладают развитой коммуникативной системой, совпадающей по многим характеристикам с языками человека. Однако, несмотря на методологический прорыв в данной области, пока вопросов остается едва ли не больше, чем ответов» [Резникова 2008: 329] (обзоры литературы, посвященной коммуникации в мире животных, — см. в [Резникова 2008; Бурлак 2011: 206–254]). Трудно не согласиться с Е.А. Сергиенко: главное различие между коммуникативными системами животных и людей состоит в том, что первые оперируют ситуативными сигналами, в то время как вторые — абстрактными символами. Как бы ни были внешне похожи сигналы животных на человеческие символы, они никогда ими не становятся, поскольку их носители, животные, не способны планировать будущие действия в отвлечении от ситуации потребности. «Даже шимпанзе строит ночной лагерь только при наступлении ночи» [Сергиенко 2008: 339–341].

Ч.Ф. Хоккет отличительными признаками языка, позволяющими считать его высшей формой коммуникации, называет семантичность, открытость, культурную преемственность, перемещаемость, дискретность, уклончивость, рефлексивность, двойное членение, иерархичность [Хоккет 1970]. Однако не все эти признаки в полной мере оказываются уникальными для такой коммуникативной системы, как язык: некоторые из них в определенной мере присутствуют в коммуникативных системах животных. Более того, «языковые проекты» (эксперименты по обучению животных, прежде всего приматов, незвуковой человеческой коммуникации) продемонстрировали гораздо большую способность восприятия и в какой-то мере усвоения испытуемыми человеческих (в первую очередь — жестовых) языков, чем было принято считать раньше. Однако в пользовании данными языками участники этих экспериментов не превосходят детей двух — двух с половиной лет [Бурлак 2011: 29–38]. Следовательно, убежденность некоторых ученых в наличии языков у животных оказывается преувеличением — «поспешным обобщением» (есть такой вид ошибки в группе аргументационно-логических ошибок), представляющим собой следствие ПВ исследуемого материала, что лишний раз подтверждает уместность иронии Э.Дж.В. Барбер и Э.М.В. Петерс, которые убедительно доказывают: особая сила человека состоит в уме-

нии перепрыгивать от считанных крупиц информации к глобальным по своей обобщенности выводам [Barber, Peters 1992] (ср. с приведенным выше, высказанным столетиями раньше мнением А. Арно и П. Николя о том, что «людям требуется не более трех-четырёх примеров, чтобы извлечь из них максимум или общее место»). За подобные «перепрыгивания-обобщения» С.А. Бурлак абсолютно справедливо критикует сравнительно недавно появившиеся теории глоттогенеза Ю.В. Монича, который на основании восприятия лишь факта существования у животных агрессивного и умиротворяющего поведения пришел к выводу, что язык возник «из ритуала клятвы верности своему племени», и В. Вильдгена, который считает, что язык создан «индивидуальной креативностью того, кто первым сказал предложение» [Бурлак 2011: 310–312]. М.К. Корбаллис в целом для всех бесспорно считает, что в основе происхождения звучащей речи были жесты, посредством мимики приведшие к возникновению осмысленных звуков и их сочетаний, но полагает, что речь таким образом возникла примерно 40 000 лет назад, поверхностно ориентируясь лишь на такой признак, как достижения верхнепалеолитической революции (наскальная живопись, украшения, новые технологии обработки камня, костяные иглы) [Corballis 2002]. С.А. Бурлак, опираясь на антропологические данные, обращает внимание на тот факт, что «первые представители нашего вида, неолиты, появившиеся более 100 тысяч лет назад, имели очень развитые приспособления для членораздельной звучащей речи — и только для нее» [Бурлак 2011: 313]. Аналогичные ошибки восприятия (ПВ) описаны Гао Мином в статье, посвященной насечкам на сосудах эпохи неолита, которые были найдены при раскопках в начале 80-х годов прошлого века в разных районах Китая и поверхностно восприняты многими учеными как самые первые, простейшие китайские иероглифы — древнейшие предшественники современных [Гао Мин 1989].

Н. Хомский, сосредоточившись лишь на одной из функции языка, категорично пишет: «Язык не считается системой коммуникации в собственном смысле слова. Это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Ее, конечно, можно использовать для коммуникации... Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка [Хомский 2005: 114]. Убежденность ученого в том, что главной функцией языка является обеспечение мыслительной деятельности, принижает роль остальных языковых функций, в том числе коммуникативной, которая не только была главной функцией языка в момент его возникновения [Серебренников 1970: 9], но и продолжает оставаться важнейшим условием существования языка, ведь при отсутствии этого условия дети в отведенный им эволюцией чувстви-

тельный период (примерно с 2 до 6 лет) не усваивают язык посредством восприятия звучащей вокруг них речи взрослых [Бурлак 2011: 317–318]. Кроме того, возможно, некоторые, судя по всему очень немногие, носители языка, оформляя при помощи языкового кода свои мысли и пребывая в философическом селентуме, «молчат, скрываются и таят» свои сообщения. Остальные же мыслители, как правило, стремятся поделиться своими мыслями с другими и при их выражении активно пользуются именно коммуникативной функцией языка.

Б.Л. Уорф считал, что отсутствие некоторых представлений в жизни некоторых индейских племен было следствием отсутствия в их языках соответствующих слов и грамматических значений [Уорф 1960¹]. Свой подход Б.Л. Уорф распространял на отношения языка и мышления в целом, полагая, что мышление обуславливается языком (а не наоборот): «Было установлено, что основа языковой системы любого языка (иными словами, грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза» [Уорф 1960: 174]. Данная мысль является программной в известной, но далеко не всеми лингвистами принимаемой, уже упомянутой нами выше гипотезе лингвистической относительности, или гипотезе Сэпира — Уорфа (подробнее о ее судьбах — см. [Бурас, Кронгауз 2011]). Например, А.А. Леонтьев назвал такое понимание постановкой проблемы «с ног на голову», поскольку, по его тоже вполне логичному заключению, на самом деле отсутствие слов и грамматических значений в этих языках было следствием отсутствия у индейцев соответствующих представлений [Леонтьев А.А., 1984: 53–56]. В поддержку позиции А.А. Леонтьева (и, конечно, многих других ученых) «работают» и данные М.А. Кронгауза о языковых затруднениях эскимосов и саами при восприятии ими невиданных ранее животных, приведенные в части «Вместо введения», и полученные в последние десятилетия данные о языковой когнитивной деятельности детей и антропоидов, представленные в главе 1, и многочисленные примеры соотношения языка и мышления у других первобытных народов, показанные в предыдущей главе. Но, как представляется, можно говорить о том, что противники и сторонники гипотезы Сэпира — Уорфа видят качественно разные вещи. Первые справедливо замечают бессилие человека, по крайней мере быстро, номинировать новые понятия: понятие есть, а соответствующего слова еще нет. Вторые обращают внимание на явления, происходящие в сознании людей под влиянием специфики их языка, то есть явления, наблюдаемые в качественно иной ситуации: номинации уже

существуют. Если не абсолютизировать мнение Б.Л. Уорфа о том, что язык всегда и везде формирует мышление, то, по-видимому, корректно говорить о том, что влияние языка на мышление есть явление вторичное по отношению к языковой номинации и в целом инертное: уже сформировавшиеся явления языковой структуры, проникая в функционирующее параллельно мышление, обуславливают соответствующие мыслительные явления, как это убедительно продемонстрировано в статье М.В. Рубец [Рубец 2009].

В предыдущих двух главах мы говорили о трудностях абстрактного понимания числа детьми и первобытными людьми. Но и современные математики не всегда понимают числа абстрактно: «XX век еще видел последнего крупного представителя древней индийской традиции такого отношения к числам, как к различным индивидуальностям. Исключительно одаренный математик Рамануджан, не получивший никакого систематического образования (и до своего приезда в Европу изучивший только одну книгу по математике), знал каждое число (включая и очень большие числа), о котором он думал, как своего знакомого. Ему были известны свойства чисел так, как люди знают особенности своих друзей. <...> Но ошибочным было бы предположение, что обратное понимание математики в целом (не только непрерывной) как сферы деятельности, сходной — в указанном смысле — с другими проявлениями «правого мозга», в новейшее время исчезает. Напротив, оно возрождается в весьма современном виде в математическом интуиционизме» [Иванов Вяч.Вс. 1978: 69, 72].

В главе 2 мы приводили полный недоумения рассказ Н.Н. Миклухо-Маклая, который, не зная о понятии синкретизма восприятия, тщетно пытался узнать у папуасов название древесного листа, которое папуасы не могли вычленивать из ситуаций, в которые мог быть включен этот лист. Однако некоторые исследователи и сегодня не могут объяснить — синкретичным восприятием (СВ) — часто наблюдаемую в современных африканских судах (созданных по европейскому образцу) неспособность африканцев описать ограниченное во времени событие дня без описания всех событий этого дня с самого его начала: «...например, когда свидетеля просят рассказать о происшествии, имевшем место в пять часов дня, он может начать свое сообщение с того, что расскажет все, что с ним произошло после того, как он утром встал» [Коул и Скрибнер 1977: 12]. Здесь уместно вспомнить и сообщение Л.С. Выготского об индейцах понка, которые не могли передать простую мысль, например о том, что человек убил кролика, не описав подробно все скрывающиеся за ней подробности (глава 2).

Не всегда выглядит корректным стихийное распространение обычно признаваемого прогрессивным принципа (закона) аналогии, то есть формального или содержательного уподобления частотному образцу на основании мышления по ассоциации. Особенно часто действие закона аналогии наблюдают в языке (например, звукоподражания являются одним из простейших случаев языковой аналогии). В целом аналогия является мощным, основанным на логическом законе тождества средством классификации и создания новых форм по образцу [Соссюр 1977: 195–208; Реформатский 2006: 489–490; Лайонз 1978: 48–50; Кубрякова 1987: 43–51; Валгина 2003: 13]. Однако Дж. Гринберг обращает внимание и на случайность выбора пути аналогией, которая «не всегда и отнюдь не обязательно ведет к изменениям, которые увеличивали бы степень морфологической регулярности языка» [Гринберг 2004: 121]. И при классифицировании лингвистами сформировавшихся в языке явлений следование аналогии часто оказывается неполным, чем подтверждает правоту древнегреческих аномалистов в их затяжном споре с их современниками — аналогистами, а также правоту младограмматиков (см. об этом [Лайонз 1978: 25–28; Кубрякова 1987: 47]). Аналогия может приводить к нивелированию тонких различий, которые, несмотря на свою малость, могут оказаться существенными. В детской речи подход к языковым явлениям «по аналогии» приводит к усвоению не закрепленных традицией форм (типа *пекешь, ехай, махаю*). В лингвистических исследованиях он приводит к игнорированию нечастотных, но семантически существенных проявлений, например к утверждению, что именительный предикативный вытесняется творительным предикативным или что генетив *чаю* вытесняется генетивом *чая*, без попыток осознать смысловые различия между этими формами, подтвержденные узусом (подробнее об этом — см. в следующей главе). Аналогия подобна гребенке, под которую на один манер причесывают всех имеющих волосы без учета их пожеланий, а потому нередко логична лишь поверхностно (ПВ). Следовательно, с точки зрения традиции, обусловленная автоматическим действием закона тождества аналогия может быть и полностью оправданной, и оправданной лишь в некоторой степени, но, с позиций логики, аналогия в целом безупречна. Полной ее безупречности препятствует затруднение при выборе основания ассоциации — признака, положенного в основу аналогии, например *пекешь* аналогично по корневой финали *пеку*, но с таким же успехом *печу* и *печут* могут считаться аналогичными инфинитиву *печь* (если отвлечься от *пекти*) и остальным спрягаемым формам *печешь, печет, печем, печете*. В полном соответствии с данными двух предыдущих глав на ранней стадии развития языка такой выбор основания мог быть

не только коллективно-подсознательным (как это наблюдается в языках постоянно), но и случайным — с абсолютизацией ближайшего воспринятого признака (ПВ). Возможно, отчасти и таким образом — наряду с влиянием определенных, но пока мало изученных тенденций — происходило закрепление внутренней формы слов: как признака, положенного в основу номинации случайно. Впрочем, по причине указанной малоизученности древних тенденций в области номинации мы не можем считать нашу точку зрения единственным решением этого трудного вопроса.

В предыдущих главах мы говорили о тормозящей логический прогресс силе привычки, стереотипа, инерции. В истории русского языкознания известно затянувшееся до 1735 года (когда его описал В.К. Тредиаковский) недоразумение, связанное с невосприятием (точнее — СВ) того очевидного факта, что приписываемые авторами грамматик, в том числе М. Смотрицким, русским звукам древнегреческие (то есть уже не византийские и тем более не новогреческие) долгота и краткость абсолютно русским звукам не свойственны [Кузнецов 1958: 40–41]. Сдерживающей силой инерции объясняется и невысокая скорость грамматических изменений. Историки русского языка лучше других ученых знают, как долго сохранялись в официальном письменном употреблении исчезнувшие в устной речи формы склонения существительных, кратких прилагательных, двойственного числа и другие.

Свойственное процессу познания впадение лингвистики, как и других наук, в крайности, например уход ее в логицизм, затем в психологизм, после чего в структурализм — с полным или частичным небрежением к данным предшествующего направления, в первую очередь свидетельствует о ПВ исследуемого материала и лишь как следствие этого о нелогичности таких подходов. Например, критикуя Х. Штейнтала за исключительное внимание к этимологическому аспекту слова (внутренней форме), С.Д. Кацнельсон не упускает из виду то обстоятельство, что «такая переоценка роли этимологии и этимологического признака в слове является не только негативным последствием недостаточного развития логики и психологии мышления. Она является также отражением недостаточного проникновения в семантическую структуру слова» [Кацнельсон 2001: 44]. Отмеченное «недостаточное проникновение» (так можно охарактеризовать и тривиальность отождествления слова и понятия логицистами, и одностороннюю увлеченность грамматической формой структуралистами) есть проявление поверхностности восприятия семантической структуры слова. Кроме того, С.Д. Кацнельсон выявляет в положениях А.А. Потебни невоспринятое им противоречие между утверждениями «об абсолютной конкретности первоначального

образа предмета» и о наличии в этом образе «различия предметности и призначности» [Там же: 79].

В предыдущей главе приведен рассказ Вяч.Вс. Иванова о спаянности в современном ирокезском языке именных и глагольных значений в одной словоформе, который автор подытоживает следующим образом: «Одна из ветвей человечества — туземная американская, больше десяти тысяч лет назад отделившаяся от других, иначе стала смотреть на соотношение аргументов и предикатов» [Иванов Вяч.Вс. 2004: 52]. Во-первых, следует заметить, что существуют и другие предположения относительно даты территориального отдаления праамериндского языка от таких ностратических языков, как семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский, предположительно восходящих к одному праязыку [Иллич-Свитыч 1984]: согласно этим допущениям миграция протоиндейцев из Азии через Берингов пролив (возможно, по существующему в то время перешейку, соединяющему Чукотку и Аляску) происходила 40–30 тысяч лет назад [Хелимский 1990: 176]. Во-вторых, при любой из имеющихся датировок «исхода» протоиндейцев из Азии через Берингов пролив приведенные в двух предыдущих частях сведения позволяют предположить, что сценарий развития индейских языков мог быть другим: «туземная американская ветвь» в те времена, когда ни в одном из языков не существовало письменной формы и потому не сохранились доказательства языковых фактов того периода, не «иначе стала смотреть на соотношение аргументов и предикатов», а все еще именно так — «синкретично-холофразно», на уровне лингвокомпетентности «додвухлетнего» ребенка (см. главу 1), не дифференцируя ситуации на предикаты и актанты (СВ), — это соотношение воспринимала, и в условиях отсутствия контактов с представителями других языковых семей такое восприятие законсервировала, как это в той или иной мере и свойственно всем современным первобытным языкам. Утверждение Вяч.Вс. Иванова о неповторимости глагольной особенности индейских языков опровергается приведенными в том же месте предыдущей главы сведениями Э. Поули о папуасском языке калам, глагольные характеристики которого аналогичны индейским. Во всех папуасских языках имеется такая синкретичная закономерность: «Личная форма глагола в предложении обладает способностью присоединять субъектно-объектные показатели, а зачастую и инкорпорировать субъект или объект либо то и другое» [Верба 1990: 365].

Наблюдаются в лингвистике и досадные терминологические пересечения, являющиеся классическим образцом нарушения в первую очередь логического закона исключенного третьего. Однако причиной этого

нарушения является невосприятие одного важного признака (что означает восприятие другого, несущественного, то есть ПВ). Так, лингвисты, сравнительно поздно провозгласившие новую лексическую категорию — паронимию (выделенную только на основании частотности смешения слов, похожих по форме), не учли того факта, что такой огромный пласт паронимов, как слова, различающиеся лишь суффиксами, понятийно ничем не отличается от однокоренных синонимов, массово отраженных в соответствующих аспектных словарях. Например, *человеческий* и *человечий* Д.Э. Розенталем рассматриваются как паронимы со стилистическим различием [Розенталь 1977: 66], но эти же слова в [Словарь синонимов... 2003: 670–671] обоснованно даны как стилистические синонимы. Это можно было бы не считать серьезным логическим затруднением, если бы синонимия и паронимия не считались равноправными лексическими категориями наряду с антонимией, омонимией, гипонимией и лексической конверсией. Ведь никого не посещает мысль антонимы *высокий* и *низкий* считать заодно синонимами, паронимами, омонимами, согипонимами или лексическими конверсивами, равно как омонимы *ключ* (в замке) и *ключ* (синоним *родник*) принадлежащими также хотя бы к одной из названных лексических категорий помимо омонимии. Таким образом, к рассматриваемой терминологической проблеме привело невосприятие того факта, что паронимия как категория имеет основание «смешиваемость», принципиально отличное от основания «форма и содержание», имеющегося у остальных лексических категорий (подробнее об этой терминологической проблеме — см. [Попов 2010]).

О.Б. Сизова рассматривает частотные случаи таких грамматических сбоев, наблюдаемых в устной речи и детей, и взрослых, как употребление родительного падежа существительного вместо других необходимых, если такие существительные следуют за прилагательными, омонимичными в падежной парадигме, например *мама-курица заботится о своих птенцов*, *об остальных праздник* писать ничего не надо, *учение о разных тип* оппозиций, и приходит к выводу о важной роли прилагательных в процессе порождения высказывания, поскольку именно они задают форму постпозитивного существительного [Сизова 2010]. Почему в таких случаях указанный сбой происходит именно в пользу родительного падежа, автор не объясняет, хотя ответ на этот вопрос очевиден: общеизвестно, что частотность родительного падежа значительно превышает частотность других падежей и других значений этого падежа, — следовательно, рассматриваемый сбой происходит в пользу того, что представляется наиболее заметным. Тем же ПВ объясняются такие приводимые О.Б. Сизовой (а также нами в главе 1) при-

меры нарушений в детской речи, как уподобление адъективной флексии окончанию субстантива и наоборот: *пАльц'ку мАл'ин'ку* [Гвоздев 1961: 439]. О.Б. Сизова показывает, что подобные нарушения встречаются и в беглой устной речи взрослых: *выпустил уникальное собрание графических материалах об архитектурных памятниках* (Радио России, ведущая); *результаты ее исследования докладывались на десятках крупных международных форумах* (филолог, профессор; в устном диалоге); *и у нас, и у других таких авторских центрах* (Радио России, ведущая); *это может затронуть интересы третьи^ф лиц, чьих-то друзей и подруг* (Наше радио, автор-исполнитель); *В таком сообществе талантливы^ф людей, как Вы* (Радио Маяк, ведущий)[Сизова 2010: 260, 268]. В то же время увлеченность идеей первой роли адъектива в процессе именного согласования в падеже как ближайшей идеей в этой научной перцепции (ПВ) не позволяет автору обратить внимание на то, что адъектив задает не всякую грамматическую форму согласующегося с ним субстантива: при согласовании в числе роль адъектива не столь велика. Если адъектив не один и связан с другим(и) сочинительной связью, и при этом каждый адъектив характеризует свой субстантив, то есть субстантивов подразумевается два (и более), то каждый из адъективов сохраняет форму ед. ч., но субстантив в соответствии с логическими законами принимает форму мн. ч. (подробнее — см. в следующей главе). Поэтому вряд ли корректно согласование адъективов — однородных определений с субстантивом в форме ед. ч. в названии кандидатской диссертации О.Б. Сизовой, защищенной в 2009 году: *«Порождение именных форм в речи детей дошкольного возраста: взаимодействие синтагматического и парадигматического аспекта»*.

В главе 1 мы приводили данные М. Томаселло и Б.М. Величковского о таком явлении в речи 2-хлетних детей, как «глагольные острова»: когда усвоенный глагол воспринимается как рамка, универсальная, готовая к применению конструкция, в которую можно подставлять разные существительные, совершенно не заботясь о нюансах сочетаемости, присущих получаемым таким образом синтагмам. Однако аналогичным образом современные цивилизованные взрослые пользуются иностранным языком, которым плохо владеют, и такой же упрощенный подход наблюдается в пиджинах, в которых смешиваются лексические и грамматические факты разных языков. Можно утверждать, что при изучении иностранных языков мы уподобляемся 2-хлетним детям, усваивающим родной язык.

Наконец, пора коротко сказать и о поверхностном восприятии в сфере практической стилистики русского языка, предписания которой нас

очень интересуют (см. «От автора»). По этому поводу В.И. Чернышев более ста лет назад заметил: «Нередко педантическая [обратим внимание на отсутствие в то время специализированной качественной формы *педантичная*. — С.П.] стилистика имеет притязание предписывать правила языку вместо того, чтобы изучать его законы, или же делает односторонние и неосновательные выводы из ложно понятых случаев употребления слов и форм. Этим нередко грешили у нас иностранцы, пишущие русские грамматики, например Греч. В своих учебниках он требует употреблять сочетания *два черные ворона, три пуховые шляпы* и под. и считает неправильными *два черных ворона, три пуховых шляпы*» [Чернышев 1970¹: 447]. Современные авторы предписывают увязывать употребление того или иного из приведенных здесь вариантов прежде всего с родовой характеристикой (*два черных ворона, два новых окна* — для м. и ср. р., но *три пуховые шляпы* — для ж. р.), но в целом высказанный В.И. Чернышевым упрек по-прежнему актуален: упомянутое современное предписание, как и прежде, несмотря на последовавший в XX веке ряд попыток объяснить это падежное колебание, очень слабо аргументировано [Попов 2011: 119–120].

Понятно, что от ПВ лингвисты, как было показано выше, не застрахованы, ибо под воздействием разнообразных и нередко случайных факторов, отвлекающих внимание, пропустить важную деталь не так уж трудно. В качестве примера такого пропуска важной детали в ортологических рекомендациях приведем критику В.И. Чернышевым «старинных» (для его времени), в том числе школьных, предписаний, запрещавших употреблять местоимение после двух существительных (разумеется, в одинаковых грамматических формах) во избежание двусмысленности этого местоимения. Ученый считает такое требование бездумным перегибом и, предлагая «руководствоваться содержанием речи, а не отвлеченным правилом», приводит три примера, которые осуждаются критиками, но им считаются абсолютно допустимыми [Чернышев 1970¹: 636]. С допустимостью одного из них — «*При сих словах прервался Лафатеров голос; он утерся белым платком*» (Карамзин) — можно согласиться: **он** относится к Лафатеру, так как голос ничем утираться не может (кроме того, хотя существительное *Лафатер* в этом предложении отсутствует, оно присутствует в более широком контексте). Но с «нормальностью» двух других примеров согласиться невозможно, вот они: «*Если бы не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет*» (Гончаров); «*Лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой*» (Пушкин).

Аргументы В.И. Чернышева: «хозяин, конечно, не мог лежать на трубке» и «само собою понятно, что испугалась и отдала поводья жена, а не лошадь». По-своему эти аргументы логичны, ибо основываются на здравом смысле. Но В.И. Чернышев не учел одну важную особенность, которая является, например, одним из принципов современного литературного редактирования, основанным на данных психологии: недопустимо, чтобы во время чтения читатель останавливался и даже ненадолго задумывался, к примеру, над тем, не на трубке ли или не на тарелке ли почивал хозяин (вторую возможность прочтения тоже нельзя исключить, и, между прочим, она способна вызвать не предполагаемую автором улыбку) и не лошадь ли отдала поводья и пошла пешком (что тоже вполне комично, и А.С. Пушкин вряд ли к этому комизму стремился). Привлечение результатов психологических исследований позволило расширить видение авторского текста и требования к нему: взглянуть на него не только в смыслах эстетическом и информационном, но и с точки зрения удобства восприятия (что-либо «с человеческим лицом» — сравнительно новый аспект для нашего менталитета).

Описанные нами факты бытовой и научной, в основном лингвистической, алогичности являются следствием синкретизма или (гораздо чаще) поверхностности восприятия соответствующих фактов, от которого «современность наших современников» их не уберегла. Хотя в целом и принято считать, что человеческое мышление живет по законам логики стихийно и объективно, из-за некачественного восприятия оно не всегда оказывается логически безупречным и у биологически не достигшего совершенства современного цивилизованного ребенка, и у далеко не всё познавшего первобытного человека (и ребенка, и взрослого — разница в их перцепциях настолько мала, что ею можно пренебречь), и, пусть и в меньшей степени, у современного цивилизованного взрослого, в том числе ученого. В связи с этим вряд ли приходится удивляться долгожительству демонстрирующих ПВ примеров *мой отец с матерью* и *изучалась математика и химия*.

Тем не менее логико-абстрактный прогресс человечества и языков, обусловленный качественным улучшением восприятия, стихийно берет свое, как берет свое перцептивно-когнитивный прогресс растущего цивилизованного ребенка. Например, Л.С. Выготский в свое время, говоря о параллелизме первобытного и все еще встречающегося современного восприятия числа как «числа определенного предмета», писал: «Остатки этого мы видим в сохранившихся еще у нас различных способах счета, применяемых к различным предметам. Карандаши, например, до сих пор считаются на дюжины и grosses и т. д. » [Выготский, Лурия 1993:

114]. Однако носители русского языка, родившиеся по меньшей мере в 60-е годы прошлого века, уже не понимают, о каких дюжинах и тем более «гроссах» карандашей идет речь, ибо последние на их памяти никто в таких единицах не считал. Это пусть небольшая, но очередная победа абстрактности числа над предметами, к которым оно применяется.

В целом очевидно, что логичность обусловленных синкретичным и поверхностным восприятием не вполне логичного мышления и не вполне логически развитой грамматики возрастает в диахронии по двум направлениям: от современного цивилизованного ребенка к современному цивилизованному взрослому (возрастает заметно быстро) и от первобытного взрослого, в том числе демонстрирующего те же уровни развития восприятия, логического мышления и грамматики древнего цивилизованного взрослого, к современному цивилизованному взрослому (возрастает лишь на протяжении веков). Но каждый из трех этих типов носителей языка испытывает трудности восприятия, вызванные его синкретизмом и поверхностностью. Именно эти трудности приводят к тому, что в языке современных цивилизованных людей сохраняются рудименты СВ и ПВ. Насколько они преодолимы, рассмотрим в следующей, заключительной, главе на примерах русского синтаксического согласования.